

Фридрих Ницше

ДИОНИСИЙСКИЕ ДИФИРАМБЫ

Перевод Алёши Прокопьева

опубликован в качестве Приложения в книге :

Ханс Хенни Янн. Река без берегов: Роман. Часть вторая: Свидетельство Густава Аниаса Хорна. Книга вторая / Пер. с нем. Т. Баскаковой. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015.

Приложение

Мир трилогии Янна настолько причудлив, многообразен и сложно устроен, настолько не вписывается в современные представления о литературе, что хочется дать читателю возможность сравнить его с другим, сравнительно небольшим по объёму текстом сходной структуры. В качестве такого текста я выбрала не публиковавшийся ранее перевод «Дионисийских дифирамбов» (1888) Фридриха Ницше — автора, аллюзии на которого определённо просматриваются в «Реке без берегов» (см.: *Деревянный корабль*, с. 456–464).

«Дионисийские дифирамбы» — рассказ о различных масках, или ролях, поэта, отчасти тоже выступающего как двуликий Янус: «страж при Господних дверях», одновременно «Правды жених» и «шут... поэтишка». Звери, птицы и деревья, бог Дионис, мудрец Заратустра и его душа Ариадна, Тень Заратустры — всё это маски Ницше, исследующего самого себя и вступающего в борьбу с собой. В «Дифирамбах» можно найти мотивы, по-новому высвечивающие некоторые основополагающие идеи Янна. Например, образ человека, несущего на спине самого себя: «Ты искал тяжелейшую тяготу: / а нашёл самого себя, — / и себя уж не сбросишь с себя ты...» Или — образ лабиринта: «Не нужно ль, до того как полюбить, — себя — возненавидеть? / Я — твой лабиринт...» Или — образ «переполненного амбара, переполненного сердца». Ницше и Янн — оба большие художники, чьи миры, конечно, не тождественны один другому; тем интереснее, что и Ницше, как Янн, ищет какую-то новую мораль, новую правду: «тепло-молочную мудрость, сладкую росу любви».

Благодарю Алёшу Прокопьева за разрешение опубликовать его перевод.

Фридрих Ницше

ДИОНИСИЙСКИЕ ДИФИРАМБЫ

Перевод Алёши Прокопьева

ТЫ — ШУТ! ТЫ — ПОЭТИШКА!

Когда осветляется воздух,
когда утешенье росы уже
нисходит на землю,
незримо, неслышно так —
ибо в мягкой обуви

Роса, наш Утешитель, ходит, как все сострадатели, вкрадчивы,
помнишь ли, сердце горячее, помнишь ли ты,
как однажды, жаждой томимо,

что вонзаются-вьются понизу и книзу,
понижаются, вздвинуты, вниз!

И вдруг —
ока вздрог,
какой уж там круг,
коготь нагл, он игла, гол и наг, —
камнем падают вниз на *ягнят*, как
снег на голову, жжёт их глад,
стервенея, в злобе на овечьи душонки,
в ярости злобной на всё, что взирает смиренно,
добродетельно, человечно-овечно, курчаво-пушисто,
тупорыло, молочно-ягняче и добро-желательно...

Стало быть,
орло-подобны, пантеро-подобны
стремленья поэта,
эти стремленья *твои* под тысячью масок,
ты — шут, ты — поэтишка!..

Ведь ты углядел в человеке
Бога-нет-Агнца, —
и Бога *задрать* в человеке,
как в человеке овечку,
и, раздирая, *смеяться* —

вот оно, вот блаженство твоё,
пантеры блаженство, орла,
шута и поэта блаженство!..»

Когда осветляется воздух уже,
когда уже месяца серп
в празелень меж багрецов
крадётся завистливо
— день невлюбя —
и с каждым шагом украдкой
роз подвесные ложа
жнёт-подрубает, пока не поникнут,
бледные, в ночь не поникнут:

так поник когда-то и я,
из моей правды-безумия,
моего дня-тоски,
утомлён днём, от света больной,
— к земле поник, к вечеру, к тени,
Единой Правдой спалён и жаждой томим
— ты всё ещё помнишь, помнишь, горячее сердце,
как жаждой томимо было тогда? —
*лучше б совсем уж
не знать никакую Правду!*
Ведь я шут *только! Только* поэтишка!..

СРЕДИ ДОЧЕРЕЙ ПУСТЫНИ

1.

«Не уходи, — сказал Странник, называвший себя Тенью Заратустры, — побудь с нами, а то нас, чего доброго, снова охватит прежняя смутная тоска.

Уже и Перво-Чародей не мог ничего выдумать лучшего, чем поделиться с нами наихудшим, и вот погляди, у нашего доброго кроткого Папы снова слёзы в глазах, и он опять готов отплыть в моря меланхолии.

А Короли, пожалуй, не прочь делать хорошую мину при нас: но готов поспорить, если б не было здесь свидетелей, то и плохая игра не заставила б себя ждать, словно злая шутка:

— злая шутка ползущих туч, влажной меланхолии, занавешенных небес, украденных солнц, завывающих ветров осенних,

— злая шутка наших воплей и криков души: останься у нас, Заратустра! Здесь много сокрытых несчастий, желающих говорить, и вечера много, и много туч, и много затхлого воздуха!

По-мужски грубой пищей ты насыщал нас и потчевал крепкими притчами: не допускай же того, чтобы за сладким напали на нас духи-неженки, женские духи.

Ты единственный делаешь воздух вокруг тебя крепким и чистым! Находил ли я когда-нибудь — на земле — воздух чище, чем в пещере твоей? Много стран самых разных повидал я хотя, и хотя научился мой нос самый разный воздух различать и оценивать, но у тебя улажаются мои ноздри величайшей усладой!

Разве что... разве что... о, прости мне одно старое воспоминание! Прости мне одну Песнь, что поют под сладкие блюда и что я сочинил, побывав как-то раз среди Дочерей Пустыни.

Дело в том, что у них был такой же чудесный воздух, воздух Рассветных стран; там я дальше всего был от облачно-влажной тяжело-печальной Старухи-Европы!

Полюбил я тогда этих девушек Стран Рассвета и по-иному синее Царство Небесное, над которым не висело ни туч, ни мыслей.

Вы не поверите, как мило они там сидели, когда не танцевали, — углублённые, но без мыслей, как маленькие тайны, как украшенные лентами загадки, крепкие орешки, что подают шалунишкам на сладкое, — поистине пёстрые и чужие, но без туч: загадки, которые позволяли себя щёлкать, — ради таких девушек сочинил я тогда псалом-на-сладкое!»

Так говорил Странник, называвший себя Тенью Заратустры, и не успел никто слова сказать, как схватил он арфу Перво-Чародея, сел скрестив ноги и поглядел вокруг, невозмутимо и мудро; ноздрями, однако, медленно и вопрошающе втягивал воздух, как Некто, кто в чужой стране улажается воздухом новым. Наконец начал петь он, в некотором роде издавая ужасный рёв.

2.

Опустошённый, плачь: пустынь не спрячешь...

3.

Ха!

Сколько пафоса!

достойно же я начал!

по-африкански зычно торжествуя!

ну прямо лев и обезьяна-

ревун — вот крикуны где, моралисты...

— но это ведь для вас — пустяк, сие Ничто вам,

возлюбленные сестры,

у ног которых я,
европеец под пальмой,
сидеть здесь удостоился! Селах.

Поистине чудесно.
Здесь я сижу, и не могу иначе,
к пустыне близко и уже
так далеко опять я от пустыни,
в самом Ничто — и всё ж опустошённый:
сказать нескушно, прямо-таки скушан
миниатюрнейшей оазой этой
— зевнув, она открыла
свой ротик сладостный,
благоуханнейший всех ртов и пастей: и я упал в него,
попал, то бишь пропал, — и вот среди вас,
возлюбленные сестры, здесь! Селах.

Благ, благ тот Кит,
что гостю своему
вреда не причинил! — вы поняли
учёный мой намёк?..
Слава те, брюхо
Кита! Когда бы ты такой же
была чудесною, оаза,
как тот Кит... что мне сомнительно немного.
Зане я прибыл из Европы,
что недоверчивей замужней бабы.
Исправи, Господи, её!
Аминь!

И вот я здесь сижу,
в оазе-крошке,
как финик смуглый, язва златоустый,
в сласть-пересласть палимый сладострастьем
по круглым губкам девичьим, но больше
по зубкам, ледяным и снежно-белым,
кусачим: ах, по ним томится сердце
у всех горячих фиников. Селах.

Подобный, слишком подобный
вышеназванным южным фруктам,
я здесь лежу, я не могу... вокруг
милашки с крыльями, летучие букашки
играют и танцуют,
как бы ещё более крошечные,
как бы ещё более глупые и ещё более злобные
желанья и причуды ваши, сфинксы —
вы окружили меня,
молчащие и ждущие чего-то
девочки-кошечки,
Дуду с Зулейкой
— *сфинксóво* окружён, в Едино Слово

я набиваю кучу упований
(прости мне, Господи, сей грех,
погрешность стиля!..)
— я здесь сижу, я не могу ноздрями
не чуют воздух, поистине чудесный райский воздух,
он светлый, лёгкий, золото в полоску,
не хуже всякого другого, коему случалось
сюда попасть, уж не с Луны ль
случайно
свалился? — или так, по шалости одной...
как древние поэты нам толкуют.
Я мнителен, и мне это сомнительно,
зане я прибыл
из Европы,
что недоверчивей замужней бабы.
Исправи, Господи, её!
Аминь.

Звериными ноздрями чудный воздух чую
(разбухшие, они подобны кубкам),
без будущего, без воспоминаний,
я здесь сижу,
возлюбленные сестры,
и не могу на пальму не смотреть,
как та, танцовщицею гибкой,
та-та, согнётся и, та-та, взовьётся, вся бёдрами качая всколыхнётся,
— с ней хочешь в пляс, когда так долго смотришь...
такой танцовщицею гибкой, что мне мнится:
не слишком ли давно и не опасно ль
она стояла на *одной* лишь ножке?
— Забыла ли о ней, иль то мне мнится,
о ножке-то *другой*?
По крайней мере, тщетно
искал пропажу я,
сокровище-двойник —
то бишь другую ножку, —
в священной близости от её
прекрасной, пре-пре-лестной,
как веер, ветреной, вертлявой, фьють! юбчонки.
Да, да, возлюбленные сестры, если вы
мне верите, то ножка
потерялась...
Ух-ху-ху-ху-ху!..
Она ушла от нас,
навек от нас ушла,
другая ножка!
О, жаль мне эту сладостную ножку!
Где бы могла она теперь в печали,
покинута, одна, томиться, ножка?
Вдруг в страхе перед тем, что — шаловливо,
свирепо, жёлто, белокуро-кучеряво —
к ней чудище придет, лев злой? или уже

обглодана, обгрызена — о ужас!
о горе, горе! вся обглодана! Селах.

Не плачьте,
мягкие сердца!
Не плачьте, вы,
вы, финики-сердца! Молочны груди!
Сердца-мешочки сладкие
из сладкокорня!
Мужчиной будь, Зулейка! Ну же! Мужества! Побольше! — И
не плачь *ты* больше,
бледная Дуду!
— Или уместнее здесь будет что-то,
что укрепляет, сердце-укрепляющее
какое средство?
натёртая наружно мазью притча?..
или торжественное слово утешенья?
Ха-ха!
Достоинство, сюда!
Раздувай мехи
добродетели!
Ха-ха!
Ещё раз проревём
мораль,
как лев — на дочерей пустыни!
— Ведь добродетель-рёв,
возлюбленные сестры,
есть прежде всех вещей
страсть европейца, глад европейца жгучий!
И вот я здесь стою,
я, европеец,
и не могу иначе, помоги мне,
Господь! Аминь!

Опустошённый, плачь: пустынь не прячь!
Пустыня душит. Скрежет камня. Смерть-Палач
недобрым взглядом златобуро жжёт,
вся жизнь его в жеваньи, он *жуёт*...

*Запомни, ты, кого услада выжгла, втвердь:
ты — камень, ты — пустыня, ты сам — смерть.*

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ

*Так умереть,
как друг — однажды я видел — умер, —
друг, что молнии, взоры
божественно в тёмную мою юность метал.
Дерзкий, глубокий,
в битве танцую, —*

среди воинов — самый весёлый,

победитель — самый весомый,
на судьбе своей стоя, как некий рок,
суровый, задумчивый после драк, вдумчивый — до:

содрогающийся оттого, что победил,
ликующий оттого, что победив *умирает*:

приказавший, когда умирал —
и приказавший что? — уНичтожить...

Так умереть,
как — однажды я видел — он умер:
победив, уНичтожить...

МЕЖ ХИЩНЫХ ПТИЦ

Захочешь спуститься здесь,
мгновенно
пропасть тебя поглотит!
— Но, Заратустра,
ты всё ещё любишь бездну,
всё ещё *елью* стоишь у края? —

Пускай корни там, где
даже скала с трепетом
в пропасть глядит, —
медлит ель на краю,
когда всему вокруг
хочется вниз поскорей:
рядом с нетерпением
срывающихся камешков и падающего ру-
чья терпелива *суть* — терпеливый, суровый, немой,
одинокий...

Одинок!
А отважится ль кто
здесь гостем быть,
твоим Гостем здесь быть?..
Разве что хищник крылатый:
как повиснет,
долготерпцу
в патлы вцепясь,
с хохотом злорадным,
с хохотом хищных птиц...

К чему такое упорство?
— начнёт глумиться-кривляться:
любишь бездну — крылья сперва отрасти...
нельзя так висеть,
как, Повешенный, ты! —

О Заратустра!
Суровый Нимрод!
Недавно ещё звероловом Господним,
силком добродетелей,
стрелою был зла!
И что? —
сам себя подстерёг,
своя собственная добыча,
сам собою пронзён...

И вот —
сам себе друг, одинок,
двое-наг, с собственным знанием сам-друг,
меж ста зеркал
перед собой не-собой,
среди сотен воспоминаний,
как в тумане,
утомлённый раной любой,
от любого мороза в ознобе,
петлю сам себе завязал,
сам себя — одинокий знаток!
Сам себе самовешатель!

Что ты сделал из петель вязанья
собственной мудрости?
Что заманил ты себя
в этот... — древнего змия рай?
Что прокрался ты
в себя — в тебя самого?..

И больной теперь ты,
от змеиного яда больной,
раб ты теперь,
вытянул жребий суровый:
в шахте Я своего
горбатиться тяжко,
к себе прорубаясь,
в себя зарываясь,
беспомощно,
оцепенело,
как труп, —
сотни тягот лежат на тебе,
и сверху — ты сам,
всеведущий!
Сам себя одинокий знаток!
Заратустра премудрый!..
Ты искал тяжелейшую тяготу:
а нашёл *самого себя*, —
и себя уж не сбросишь с себя ты...

Полусидя

в засаде,
никогда ты не встанешь во весь рост!
Сросся с могилой своей,
призрак, травую *пророс!*..

А недавно ещё такой гордый,
с мордулей радости — на ходулях гордости!
Недавно ещё разодинокий отшельник без Бога,
а теперь — раз-двоящийся к сатане пришлец,
Принц багряный Бесстыжести дерзкой!..

И что! —
меж двух *Ницито*
скрюченный
вопросительным знаком,
утомлённой загадкой —
загадкой для *хищных птиц*...
— вот ужо как тебя «разгадают»,
они алчут твоей «разгадки»,
они бьются вокруг тебя, над загадкой,
над тобой, ты, Повешенный!..
О Заратустра!..
Сам себя — одинокий знаток!..
Сам себе самовешатель!..

СИГНАЛЬНЫЙ ОГОНЬ

Здесь, где остров вырос между морями,
вздыбась жертвенным камнем вдруг, скальной громадой,
здесь себе Заратустра под чёрным небом
разложил костры высоко в горах,
как сигнальный огонь — знак для тех, кого по морю носит,
вопросительный знак для тех, у кого уже есть ответ...

Это пламя-змея с бледно-серым брюхом
— языки её жажды в холодные тянутся дали,
ко всё более чистым высотам выгибает шею она —
стоя коброй пред Нетерпением:
вот какой пред собой я поставил знак.

Ах, сама-то душа моя — это пламя.
Ненасытно стремясь ко всё новым далям,
вверх стремится, всё вверх её тихий жар.
Что людей бежал Заратустра и зверя?
Почему вдруг от твёрдой земли оторвался?
Шесть он знает уже одиночество, —
но даже и море ему не совсем одиноко,
остров — в скалы велел ему лезть, пламенем стать,
и теперь на *седьмое* одиночество
он закидывает удочку над головой.

Моряки, носимые по волнам! Вы, обломки древнейших звёзд!
Вы, моря будущего! Неизведанные небеса!
Ко всему Одинокому я наладил крючок:
нетерпению пламени дайте ответ,
помогите поймать рыбаку на высоких скалах,
мне, — седьмое, *последнее* Одиночество!..

СОЛНЦЕ САДИТСЯ

1.
Недолго жаждало ты,
опалённое сердце!
Обещание разлито в воздухе,
из неведомых уст подуло на меня:
— приближается великая прохлада...

Солнце моё в полдень знойно стояло надо мной:
как хорошо, что пришли вы,
вы, внезапные ветерки,
вы, прохладные духи вечера!
Воздух веет — чужой и чистый.
Не ночь ли искоса
бросает на меня
обольстительный взгляд?..
Крепким будь, моё сердце!
Не спрашивай: почему?

2.
День моей жизни!
солнце садится.
Уже ровно стоит
— золотится — поток.
Теплом дышит утёс:
что если в полдень спало на нём
счастье — полуденным сном?
Вся в зелёных огнях,
ещё играет бурливым счастьем бурая бездна.

День моей жизни!
к закату идёт он!
Вот уж пылает, как уголь, твой
полуугасший
глаз, вот уж сочится твоя роса —
капелью слёз,
вот уже тихо бежит по белым морям
пурпур любви твоей,
твое последнее — медля — блаженство...

3.
Приходи, золотистая ясность!
ты — смерти

самое тайное, самое сладкое предвкушение!
— Не слишком ли быстро шёл я своим путём?
Только сейчас, когда утомилась река,
догоняет твой взор меня,
догоняет твоё *счастье* меня.
Повсюду волна лишь, игра лишь вокруг.
А что было когда-то и тяжёло,
в голубое ушло забытьё,
и без дела моя лодка стоит.
Как легко разучилась она — в бурю плыть!
Утонули желанье с надеждой,
расстилаются ровно душа и море.

Здравствуй, седьмая вечность!
никогда я так близко не чаял
уверенность сладкую,
никогда так тепло — солнца взор.
— Не горит ли уж лёд вершины моей?
Рыбкой — легко, серебристо —
выплывает в море лодка моя...

РЫДАНИЯ АРИАДНЫ

Кто согреет меня, есть ли тот, кто ещё любит меня?
Дайте горячие руки!
Дайте жаровню сердца!
Повержена, дрожью дрожа,
отходящего вроде, которому греют ноги,
пожиряема, о! неведомым жаром,
в трясовице от острых стальных стрел озноба,
я тобою загнана, Мысль!
Невыразимый ты! Скрытый! Ужасный!
Зверолов по ту сторону туч!
Вспышкой молнии освещена,
что твой глаз издевательски мечет, из тьмы озирая меня!
Так лежу я,
дрожу я, всем телом кружусь и верчусь, мучима
всеми мученьями вечными,
пронзена
тобой, жестокий Зверолов,
ты, незнакомый, — *бог*...
Вонзайся ж глубже!
Ещё! Ещё!
Пронзи насквозь, разбей мне сердце всклянй!
К чему же мучить
стрелой с тупым зубцом?
Что снова глядите вы,
беспрестанные человеке-мученья,
злорадные бого-молний-глаза?
Не убивать ты хочешь,
а лишь мучать, мучать!

Зачем — *меня*,
неведомый мой враг, злорадный бог?
Ха-ха!
Как тать в ночи
ты явишься ко мне?..
Чего тебе надобно?
Говори!
Как юную лань, теснишь меня; потоками своими всеми жмёшь,
Ха! Ты уже слишком близко!
И уже слышишь, как я дышу,
уже сердце мое подслушиваешь,
ты, ревнивец!
— но к чему ревновать?
Прочь! Прочь!
а лестница зачем?
ты в душу *хочешь*,
в сердце моё *влезть*,
в тайные мои
проникнуть мысли?
Бессовестный! Мы незнакомы! Вор!
Что хочешь ты украсть?
Что хочешь ты подслушать?
что выпытать ещё,
ты, пыточник, палач!
Бог-вешатель!
Что ж мне, словно псу,
перед тобой валяться на земле,
хвостом помахивая, преданно, — тебя,
Любовь, любить, быть от тебя, любимый, в восхищеньи?
Напрасно ждёшь!
Впивайся и рази!
Кинжала жало!
Не пёс я — дичь твоя,
жестокий Зверолов!
Твоя, пусть пленница, но гордая из гордых,
грабитель лютый из-за туч...
Скажи хоть что-нибудь!
Ты, Завеса Молнии! Кто ты? говори!
Что хочешь ты, разбойник, от — *меня*?
Что?
Выкуп?
Выкуп-то зачем?
Побольше требуй — мне подсказывает гордость!
И меньше говори — уже другая!
Ха-ха!
Меня — ты хочешь? да, *меня*?
всю меня — всю?
Ха-ха!
И мучаешь меня, шут бестолковый,
гордость мою всю изъязвил вконец?
Дай мне любви — кто так ещё согреет?
кто ещё любит меня?

руки протяни
горячие, дай сердца мне жаровню!
дай мне, о тот, кто самых одиноких
учит томиться по врагам, в тоске
даже к врагам всё время изнывать,
дай, нет, а лучше — сам яви,
свирепый враг,
мне — самого *тебя!*..

Бежал!
Он сам бежал,
единственный мой друг,
великий враг,
мой незнакомец,
вешатель-мой-бог!..
Нет!
возвращайся!
С пытками своими!
Слёзы бегут
к тебе бегом,
и пламя сердца
в последний раз вспыхнет тебе огнём.

О возвращайся,
неведомый мой бог! вернее, *боль*,
последнее блаженство!..

Молния.

Изумрудно-прекрасен, в её свете является Дионис.

Дионис:
В уме останься, Ариадна!..
Нет у тебя ушей, кроме моих:
вмести же в них умное слово!
Не нужно ль, до того как полюбить, — себя — возненавидеть?
Я — твой лабиринт...

СЛАВА И ВЕЧНОСТЬ

1.
Долго ты ещё будешь сидеть
на злосчастье своём?
Смотри! не высиди
мне из него
яйцо —
яйцо василиска.

Почто Заратустра крадётся у самой горы?

Недоверчивый, мрачный, язвительный,
долговязый лазутчик, —

но вот: молния,
свет, гибель, удар
в небо из бездны:
и даже у горы содрогаются
недра...

Там, где ненависть с молнией
срослись в одно, *проклинанием* став, —
там, на горе, живёт теперь гнев Заратустры;
грозовая туча, идёт он своим путём.
Прячась в страхе теперь, кто последним укрыт одеялом!
Забирайтесь в постели, неженки!
Вот катаются громы над сводами,
балки и стены трясутся от страха,
пробегают молнии и серно-жёлтые истины —
изрыгает *проклятия* Заратустра.

2.

Эта монета, которой
весь мир платит, —
слава:
я беру осторожно — в перчатках — её
и швыряю *прочь* с отвращением.
Кто хочет оплаченным быть?
Они продаются...
Выставлены *на продажу*, хватают
жирными пальцами
эту всемирную — жестянкой гремящую — славу.

Хочешь купить её?
они все продаются.
Но предлагай им не скупясь!
звени тугою мошной!
— иначе ты *укрепишь*,
укрепишь ты их *добродетель!*..

Они все добродетельны.
Добродетель и Слава — чем не чета?
Покуда мир существует,
платит он за добродетель-бурчание
звонким славы брэнчанием —
и *с этого* шума *живёт*.

Перед всеми добродетельными
хочу я быть должником,
объявляю себя должником везде, где Вина велика!
Перед всяким вещателем славы
в червя превращается моё честолюбие —
среди таких я желаю больше всего
самым *низменным* быть...

Эта монета, которой

весь мир платит,
слава:
я беру осторожно — в перчатках — её
и швыряю *прочь* с отвращением.

3.
Тихо! —
о великих вещах — а я *вижу* великое —
нужно молчать
или великое молвить:
молви великое, в восхищении, мудрость моя!

Поднимаю горé глаза —
там валы световых морей:
— о ночь, о молчание, о упокоение всякого шума!..
вижу я знак —
из самых далёких далей,
сверкая, спустилось созвездие медленно — встало передо мной...

4.
Вышние светочи бытия!
Вечных творений грифельная доска!
Ты пришла ко мне? —
То, что Никто не видел,
твоя бессловесная красота, —
и она не бежит моих взглядов?

Необходимости щит!
Вечных творений грифельная доска!
— но ты ведь знаешь и сам:
что *все* ненавидят,
что люблю я один, —
это чтобы ты было *вечно!*
чтобы ты было *необходимо!*
Моя любовь возгорается
только от Необходимого.

Необходимости щит!
Вышние светочи бытия!
— недостижимы желанию,
не запятнаны словом «Нет»,
вечное «Да» Бытия —
и я — твоё вечное «Да»:
потому что люблю тебя, Вечный Свет!

О БЕДНОСТИ БОГАТОГО СВЕРХ МЕРЫ

Десять лет прошло —
и ни капли на меня не упало,
нет ни влажного ветра, ни рос любви
— земля без дождя...

И вот я прошу свою мудрость,
не жадничай в эту сушь:
истекай сама, капай сама росой,
будь сама дождём пожухлой пустоши дикой!

Когда-то велел я тучам
убраться прочь с моих гор —
когда-то я говорил: «больше света! вы, темень!»
Ныне маню я их, чтобы пришли они:
выменем вашим сотворите вокруг меня тьму!
— я хочу вас доить,
вы, коровы вышнего крова!
Тепло-молочную мудрость, сладкую росу любви
устремляю я — пусть течёт! — по земле.

Прочь, вы, мрачно глядящие
правдицы, прочь!
Не желаю я на моих горах
видеть кисло-терпкие нетерпеливые правданки.
Со своей золотистой улыбкой
пусть мне станет ближе ныне другая правда:
подслащённая солнцем, смуглая от любви, —
только зрелую правду сорву я с дерева.

Ныне хочу я коснуться рукой
локонов случая;
мне достанет ума, чтобы случай
вести как ребёнка, чтоб провести его вокруг пальца.
Ныне хочу я быть гостеприимным
к Нежеланному,
даже к судьбе не хочу быть колюч
— Заратустра не ёж.

Моя душа
лизнула уже ненасытным своим языком
все сладости мира и все его гадости,
в любые спускалась глубины.
Но всегда — подобно пробке
вновь всплывала она на поверхность:
масляным пятном качаясь на буром море;
видят душу мою и называют меня счастливым.

Кто отец мой и кто моя мать?
Не Принц ли Переизбыток отец мне
и не мать ли моя — Тихий Смех?
Не они ли меня зачали в законном браке —
меня, зверя-загадку,
меня, свет-мило-золотце,
меня, расточителя всякой мудрости, Заратустру?

Больной ныне от ласк —
влажный ветер, несущий росу, —

сидит Заратустра и ждёт, ждёт на своих горах:
в собственном соку
мягкотелым и сладким став,
под своею вершиной,
под своим ледником,
утомлённый и благостный,
как Создатель в седьмой свой Творенья день.

— Тише!
Чья-то правда бродит надо мной,
подобна туче, —
незримыми молниями поражает меня.
По широким медленным ступеням
поднимается её счастье ко мне:
приди, приди, возлюбленная Правда!

— Тише!
Это Правда — *моя*!
Из медлительных глаз,
из шёлка трепетного
разит меня её взгляд,
милый девичий взгляд колючий...
Она отгадала *причину* моего счастья,
она отгадала *меня* — ха! — что замышляет она?
Пурпуром притаился дракон
в бездне её девичьего взгляда.

— Тише! *моя говорит* теперь Правда:

Горе тебе, Заратустра!

Ты выглядишь так, будто
золото проглотил:
тебе ещё вспорют живот!..

Слишком богат ты,
ты, растлитель многих!
Слишком многих *ты* сделал завистниками,
слишком многих — бедняками...
Даже на меня свет твой отбросил тень, —
зябко мне: прочь поди, ты, богатый,
прочь поди, Заратустра, покинь своё солнце!..

Ты хотел бы раздать-раздарить то, чего у тебя сверх меры!
Но чрезмерен — ты сам.
Богатенький, не будь дураком!
Сначала себя раздари, Заратустра!
Десять лет прошло —
и ни капли на тебя не упало?
нет ни влажного ветра, ни рос любви?
Но кто *мог бы* тебя полюбить,
ты — богатый сверх всякой меры?

Твоё счастье сушит вокруг всё,
делает бедным на любовь —
как земля *без дождя*...

Никто тебя не благодарит больше,
ты же всякому благодарен,
кто берёт от тебя:
по тому и узнают тебя,
ты, богатый сверх меры,
ты, *беднейший* из всех богачей!

Ты жертвуешь собой, тебя *мучит* твоё богатство —
ты отдаёшь себя,
ты не щадишь себя, ты не любишь себя:
большая беда неотступно бредёт за тобой,
беда *переполненного* амбара, *переполненного* сердца —
но Никто не благодарит тебя больше...

Ты должен *беднее* стать,
мудрец немудрящий!
Если хочешь, чтобы тебя любили.
Любят только страждущих,
отдают любовь только тем, кто голоден:
сам себя раздари сперва, Заратустра!

— Я — твоя Правда...